

ПРЕДИСЛОВИЕ

*Не говори с тоской: их нет,
но с благодарностью: были.*

В. А. Жуковский

Мне часто приходят на память слова А. С. Пушкина о том, что *уважение к минувшему — черта, отличающая образованность от дикости...* Все мы, по меньшей мере, многие из нас, в своей прошлой жизни были студентами. Мгновенный кадр из той, конечно же, счастливой жизни: здание с памятником Пушкину у входа, учебная аудитория. Перед нами, нога за ногу, так что открывается полоска модного носка, боком сидит худой длинноволосый человек. Он курит (!). Вот это «курит» невозможно было представить даже в либеральные 90-е («ельцинские»), не то, что тогда — застойные 70-е («брежневские»). Мы — студенты филфака хабаровского пединститута. Худой, длинноволосый и курящий, так вольно расположившийся на стуле — Юрий Викторович Подлипчук, — выпускник театрального училища, друживший с Юлием Кимом, учитель литературы в знаменитой московской физматшколе Колмогорова, теперь — наш преподаватель.

С того времени прошло уже более сорока лет. У меня, его ученика, — ученая степень доктора философских наук, несколько десятков опубликованных работ, погружение в научную среду Москвы, Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Комсомольска... Он же не был (так сложилось) даже кандидатом наук, но более яркого гуманитария, чем Юрий Викторович, за эти четыре десятка лет я так и не встретил. Имея за плечами нетривиальный актерский и режиссерский опыт, он и в студенческой аудитории предлагал отнюдь не хрестоматийное прочтение русской классики: в его исполнении звучащее слово приобретало не только особую выразительность, но и особую глубину. Именно Подлипчук «повинен» в том, что трудный и даже отторгаемый в школе Достоевский стал любимым писателем на всю мою последующую жизнь. Вместе с тем, учебная дисциплина, которую «доверили» Подлипчику дипломированные и остепененные коллеги и вузовские чиновники, была отнюдь не «Русская литература XIX века» (с его любимым Достоевским), а «Выразительное чтение». Но, пожалуй, именно занятия по выразительному чтению (конечно, и спецкурс по Достоевскому) оказались главными в нашей (по меньшей мере — моей) филологической подготовке.

Подлинным артистизмом (студенческий театр Подлипчука до сих пор помнят многие из тех, для кого ХГПИ — alma mater) и талантом к научной интерпретации текста можно объяснить и, казалось бы, неожиданное обращение Юрия Викторовича к работе над «Словом о полку Игореве». Тогда многие из коллег (особенно специалисты по истории языка и литературы) восприняли это скептически: с какой стати — неспециалист и «вдруг»...? Тем не менее несколько лет труда (то ли подвижника, то ли безумца) — и новый перевод «Слова» с учеными комментариями был представлен на суд самому Д. С. Лихачеву, главному специалисту по древнерусским текстам из Института русской литературы (Пушкинский дом). Не время (да и не к месту) разбирать сейчас причины резкого неприятия, даже враждебности, авторитетного ученого к работе самозванного автора, но, даже несмотря на положительные отзывы других, не менее авторитетных специалистов*, труд Подлипчука не был принят к рассмотрению, тем более к опубликованию**.

Остро переживая неудачу, он, как мне тогда казалось, ищет спасения в поэзии. Так появляются его «Магеллановы облака» — поэма почти в сто страниц. И только теперь, готовя поэму к публикации, я понял, что Юрий Викторович не «поэт по случаю». Уже были, как оказалось, и «Арлекин на кресте» и «Транссибирская-2». Вчитываясь в текст рукописи, которую много лет назад мне передала вдова Юрия Викторовича Наталья Михайловна, я открывал для себя прежде мне неизвестные, пафосно выражаясь, судьбоносные, обстоятельства жизни моего учителя.

На некоторые подробности из московской жизни Ю. В. я случайно натолкнулся в книге его ученика по колмогоровской физматшколе, писателя Сергея Яковлева «Та самая Россия: Пейзажи и портреты» (гл. «Волшебный круг. Материалы к одной биографии»). В частности, он вспоминает о том, что физматшкола при МГУ хорошо учила не только математике с физикой, но была, прежде всего, школой свободомыслия и демократии (не нынешней, настоящей), где ученики запросто спорили с академиками, а молодых учителей называли по имени. Историю одно время там преподавал скандально известный бард Юлий Ким, а литературу — Юрий Викторович Подлипчук, который московской прописки не имел, жил вместе с учениками в интернате и не признавал

* *Вот цитата из отзыва академика АН СССР Б. А. Рыбакова, датированного 1980 годом: «В продолжение нескольких лет я слежу за научной работой преподавателя Хабаровского педагогического института Подлипчука Ю. В. Осуществленный им новый дословный перевод «Слова о полку Игореве» и свод статей, комментирующий его, представляет большой научный интерес и является, несомненно, новым словом в изучении памятника древнерусской литературы».*

А в глубокой и честной рецензии известного филолога, академика РАН М. Л. Гаспарова отразились, кажется, не только исключительные достоинства труда, но сама душа никому не ведомого исследователя: «На дерзкую оригинальность автор подчёркнуто не притязает: по каждому сомнительному месту он, прежде всего, приводит со щепетильной полнотой многочисленные, уже существующие варианты его толкований и переводов и лишь затем делает аргументированный выбор, часто — с существенными коррективами. Новые чтения и толкования здесь есть, и в немалом количестве, но поданы они так скромно, что кажутся немногочисленными. Трезвость и здравый смысл — главные критерии автора. Работа никогда не обещает больше, чем она дает. Зато очень часто она дает больше, чем обещает».

** *Подлипчукский перевод «Слова» с учеными комментариями был опубликован в 2004 году в издательстве «Академкнига» Виктором Подлипчуком — сыном Юрия Викторовича, которому он и посвятил «с надеждой на понимание» свою поэму.*

школьных учебников. Учились же по конспектам его вдохновенных лекций, которые торопливо записывали неумелой рукой (все-таки не студенты, девятый класс). Еще считалось важным знать тексты, то есть собственно литературу (при этом Достоевский, например, требовался почти весь, вплоть до «Братьев Карамазовых»). На контрольном сочинении могла возникнуть такая тема: «Ваши чувства при чтении Евангелия». Его эрудиция и начитанность были феноменальны. «Мастера и Маргариту», задолго до журнальной публикации, он сам читал ученикам после уроков. Я, не колеблясь, готов, и минуты не сомневаясь, подписаться под словами автора упомянутой книги: «За минувшее с той поры время я слышал немало профессиональных чтецов, в том числе известных и титулованных, но по силе воздействия никого не поставлю даже близко. До сих пор не могу постичь, в чем была магия этого сухощавого близорукого человека в сильных очках-линзах?»

А вот что написала в «Тихоокеанской звезде» от пятнадцатого января 1997 года Светлана Подзноева — одна из учениц этого незаурядного учителя: «Юрий Викторович — коренной хабаровчанин. Семья его родителей переехала на Дальний Восток с Украины еще в XIX веке. Но в 1937 году отец, работавший в Управлении железной дороги, был репрессирован. Семью лишили квартиры и выслали из Хабаровска. Пришлось начинать жизнь с нуля в маленьком городке под Ростовом. А через несколько лет эту территорию уже оккупируют немцы.

После войны Подлипчук вместе с друзьями (за компанию) подает документы в театральное училище. Друзья не проходят по конкурсу. Юрий Викторович поступает. Затем была работа в провинциальных театрах юга России, приглашение в Ереванский драматический, отказ (по причине солидарности с неприглашенными). Были попытки получить высшее образование в ГИТИСе и Полиграфическом институте. Работа диктором на радио. Наконец, преподавание литературы в школе. Причем не где-нибудь, а в знаменитой физико-математической школе академика А. Н. Колмогорова при Московском государственном университете...

Формально *добыл* высшее образование Юрий Викторович уже в родном городе, куда вернулся после реабилитации отца. Заочно окончил филфак Хабаровского пединститута. Здесь же остался преподавать. Так институт получил преподавателя, ставшего легендой для многих поколений студентов...

Он оставлял накопленные за жизнь знания и опыт не в научных трудах, а в учениках. Но кто скажет наверняка — что важнее? И лишь одно произведение Юрий Викторович хотел представить свету от своего имени — перевод «Слова о полку Игореве». То, что «Слово» вообще возникло в его жизни, кажется мистикой. Однажды, став свидетелем спора коллег по поводу «Слова», Юрий Викторович ощутил необычайное притяжение его тайны. Чувство это было как любовь. Еще ничего не сказано, еще нет никаких признаний, но тебя вдруг осеняет: вот оно... И вся жизнь, все, что в ней было накоплено, добыто, достигнуто, было брошено к его ногам».

И все-таки самый главный урок Юрия Викторовича, — считает С. Яковлев, — вне рамок литературы: всей своей жизнью он доказал томимым тщеславием, обиженным на судьбу, что можно реализовать себя вне зависимости от обстоятельств, условий, возможностей. За тысячу верст от столицы, ученых сообществ, в провинциальном вузе, в не самые лучшие времена.

Надеюсь, что читателей «Дальнего Востока» (не только тех, кому повезло учиться у Юрия Викторовича) привлечет и поэтическая образность «Магеллановых облаков», и яркие страницы судьбы ее автора, а помнящие и любящие его,

прочитав опубликованную впервые поэму*, пришлют в редакцию журнала свои отзывы и воспоминания об Учителе.

*А. С. Брейтман,
доктор философских наук, профессор
Дальневосточного государственного
университета путей сообщения*

ВМЕСТО ПРОЛОГА

*Он знал, что поэма близка к завершению;
Что сделано все и в указанный срок;
Что он обречен от любимых и близких
Уйти на скрещение звездных дорог.
Он знал, что любая дорога конечна,
И прав у него на бессмертные нет.
Он слышал, как плавно в оркестре Вселенной
Печальную пьесу играет кларнет.
Он знал, что как только тот смолкнет
И вступит небрежно и дерзко фагот,
Примчится к нему из Неведомой Дали
Герой его жизни — синьор Дон Кихот.*

МАГЕЛЛАНОВЫ ОБЛАКА

Моему сыну — с надеждой на понимание — посвящая

В непроявленной ленте будней — случайная дата календаря...
Вот и быть в начале поэмы утру третьего января.
Быть заснеженному аэродрому, где мерцают взлетных полос огни,
Где рассветные звезды гаснут и пристегнуты все ремни.

* В силу достаточно большого объема поэмы и ограниченности журнальных площадей текст печатается в сокращении. Я, как инициатор публикации и «держатель» полного текста поэмы, а главное, ученик Юрия Викторовича, взял на себя ответственность по редактуре и сокращениям. При этом главной моей задачей было сохранение авторского замысла и логической целостности поэтического текста. Хотелось бы отметить одну из особенностей поэмы: отсутствие в ней строгой сюжетно-событийной логики. Обозначенное автором место и время создания поэмы — на борту авиарейсов 1983, 1986 и 1988 гг. (не отсюда ли и Магеллановы облака), следующих одним и тем же маршрутом: Хабаровск — Москва — Хабаровск. (Увлеченный переводом «Слова», Ю. В. тогда часто бывал — на собственные и весьма скромные заработки — в Москве на встречах со специалистами.) Перед нами, прорываясь через бортовую дрему, — поток сознания, спровоцированный воспоминаниями военной юности, до конца не изжитой любовной драмы, творческих поисков и мытарств. Отсюда — неожиданные, но всегда поэтически оправданные, стиливые и сюжетные переходы. Юрий Викторович — Мастер, и поэтому в конце поэмы он сводит все многообразие текста в один поэтический фокус.

И морозное утро, и взлетное поле — тот исходный рубеж и последний порог,
Когда все еще только возможность в скрещенье семи дорог.
Когда только предложен выбор: нечет? чет? — игра без конца:
На какой-то дороге удача, на какой-то не видно конца...
Ни беду, ни любовь, ни удачу нет возможности угадать —
Вот уже на табло время вылета в пересчете на местное 5.45.
И тебе только шаг в поэму: вещи сдай, на посадку пройди,
И тогда уж никто не окликнет: что ты делаешь? Погоди!
И никто тебе не напомнит, что другой был возможен маршрут,
Что тебя на иных широтах в эту ночь с нетерпением ждут,
Что в штормящем по-зимнему море еще с вечера были сполохи видны —
То отчаянные флибустьеры жгли испанские корабли.
Подожди же! И Фата Моргана для тебя в стылом небе экран развернет.
Ты увидишь воочию: вся Армада к берегам Тавриды плывет.
За тобою спешат каравеллы в порт, где жил Айвазовский, где Грин мечтал.
Это ради тебя в морозное утро выйдет к трапу сам Адмирал.
И тебя уже вводит в поэму голубых стюардесс деликатный эскорт,
И прощально мерцает огнями уплывающий аэропорт.

.....

Словно кальки картин Богаевского, возникают иные миры:
Лабиринты горбатых улочек, генуэзские фонари.
Только там, если станет плохо, Фрези Грант по волнам придет,
Почему же иным маршрутом улетает в ночи самолет?
Басовито гудят турбины, далеко под крылом земля.
Улеглась суета в утробе винтокрылого корабля.
Ритуальный завтрак закончен. Запах кофе, уют, полутьма.
И смежает усталые веки легких дрем-полуснов кутерьма:
Словно старая-старая сказка про далекие Острова —
В ней, уже посев от времени, Магелланова слава жива.
Слышно мне, как ревел ураганом то один, то другой океан...
Только прежде о том, как однажды в мою жизнь вошел Магеллан:
В сорок третьем нас с Валькой вели на расстрел.
Мог, конечно, сбежать я, да, видать, оробел...
Мог сбежать я, да Валька в передрагу попал.
Валька ж парень толковый, а вот тут оплошал:
Поднял руки на окрик «Hände hoch!» Валентин,
В общем, так уж случилось: не сбежал я один.
Выбор сделан, хоть, впрочем, что уж тут выбирать:
Валька б друга не бросил, мне ли Вальку не знать!
Валька держится храбро, лишь слегка побледнел.
А вина на копейку, и не Вальки вина —
Я открыл Эльдорадо за проемом окна:
Стеллажи вдрызг разбиты, книги тонут в пыли.
Валька понял с полслова: «Ладно, кореш, пошли!»
Валька — парень что надо! Знал, что я книгочей.
Валька был Дон Кихотом для хороших друзей.
А всего преступления, что зашли за посты,
Хотя всюду «Verboten» угрожали щиты.
В запретзону сто метров — вот и вызов судьбе —
В дом прокрались, как тени, сквозь проломы в стене.

Среди грязи и смрада книги грудой лежат,
Достоевский и Чехов, Блок, Дюма и Брет Гарт. —
Ну и мне показалось, что я Ротшильдом стал.
Валька — дело другое: Валька мало читал.
Случай, право, и только: прямо рядом с дерьмом
Заприметил какой-то преувесистый том.
Золотое тиснение: буква «ЭР». «Ну, дела, —
Валентин удивился, — это ж том словаря!»
(То, что это Брокгауз, мы узнали потом).
Валентин пыль с обложки обмахнул рукавом.
А зачем нам Брокгауз, да и Чехов к чему?
Не попасть бы в облаву. Пережить бы войну.
Круппы целят в Растрелли, фрески жжет огнем,
В бывших парках и скверах трупный запах плывет...
Том на «ЭМ» среди хлама без обложки лежал.
«Все равно том толковый, — Валька бодро сказал. —
Здесь статья мировая: «Фернан Магеллан» —
Он при Карле каком-то переплыл океан...»
Тут патрульные Вальку застали врасплох:
Шмайсер в спину, и окрик хлестнул «Hände hoch»
Что ж, смешная история: Валька книг не читал,
А теперь из-за книжек под конвоем шагал.
Валька — парень хозяйственный, Валька — парень нахал.
В путь последний собрался, но Брокгауза взял.
Том один — с Магелланом, а в другом — Рафаэль.
Немец, что помоложе, с удивленьем смотрел...
Впрочем, тронул он немцев — вот судьбы перепад:
Взяли том с Магелланом, нам — коленкой под зад...

Вот когда запоздало ноги ватными стали
От обиды, от гнева губы мелко дрожали...
Где-то пел «Telefunken» на берлинской волне
О солдатской зазнобе, о солдатской судьбе.
Сколько кануло в Лету, но в ушах до сих пор:
Wer der Laterne, wer den guten Form...
Привязался репейником пошлый рефрен:
Wie einst Lilli Marlen!

Монотонно гудят турбины, свет притушен, не видно лица.
Ты не спишь? Так дослушай всю историю до конца.
И узнаешь, как утром морозным вдруг Мигель де Сервантес придет
И, прищутив глаза насмешливо, скажет: «Здравствуйте, Дон Кихот!
Время камни в пустыне разбрасывать — время их другим собирать.
Не угодно ль поэму синьору однорукому почитать?»
Ради этой счастливой минуты собираю в узоры бусинки слов —
И плывут мои каравеллы мимо сказочных островов,
И ногами дорогой Монтельской скачет славный гидальго навстречу судьбе,
Или — это третьи сутки «Ил» в заоблачной вышине?
И понять уже невозможно: век какой? Чьи звучат голоса?
Трое суток уже ты в полете или только четыре часа?

.....

Война на белом свете, шестнадцать нам едва,
А где-то в Океане нас ждали острова.
И где-то волны плещут в розовый песок,
А на ветру морозном стрелковый взвод продрог;
А в степи заснеженной — минные поля;
А к винтовке старенькой — патронов тридцать два.
И еще граната — одна на целый взвод,
И, будто бы исправный, трофейный пулемет.
Но старшина упрямо хрипит: «Не унывать!»
А дальше непечатное про гитлерову мать.
Откуда знать мне было (победа далека),
Что напишу когда-то про орды Кончака?
...Забутые страницы, но, память бередя,
Пылают черным заревом в России города.
И виделось воочию, как в степной пыли
Новгородцы-северцы бесславно полегли.
Закаты тлели тусклые, фугасок кислый смрад,
Не опасаясь, «юнкеры» забытый взвод бомбят.
В энзэ кусочек сала, два мерзлых сухаря.
Закат лег бликом розовым на минные поля...

.....

Под бушпритами пеной закипал Океан.
Вел эскадру на Запад адмирал Магеллан.
И в виденьях бессвязных из кошмара войны
Выносили меня на простор корабли.
Только пали туманы. Тонут в них паруса,
Тают белые призраки, не слышны голоса ...
И склонилась вся в белом надо мной медсестра.
И больничная койка, и сполохи костра...
И в бреду мне являлся судовой капеллан.
И кренились мачты, и ревел Океан.
Он, распятые подняв, что-то гневно кричал —
«Шмайсер» немец в упор на меня поднимал.
Вновь, как в кадре из «хроники», «юнкерс» падал в пике,
Черный дым над Батайском, все Придонье в огне.
К моей винтовке старенькой патронов больше нет.
Минную равнину замечает снег...
От хлористого кальция во рту пылает жар,
И вдруг запели где-то под перебор гитар:
*«В бездорожье в ночь глухую понукает Росинанта
Рыцарь славный из Ламанчи.
На осле за господином поспешает верный Санчо...»*
Ах, как пели гитары! Как смущали слова.
И как сладко кружилась в унисон голова.
Но шептал кто-то в белом: «Дел неупророт,
А этот до утра навряд ли доживет...»
Умереть мне до срока, эй, ты, в белом, нельзя!
Меня ждут в Океане бродяги-друзья.

«Тридцать восемь и восемь» медсестра бормотала —
Над Испанией звездное небо вставало.
«Тридцать восемь и девять» — и чудится мне
Стук копыт по иссохшей Монтельской земле:
*Это ночью в бездорожье понукает Росинанта
Рыцарь храбрый из Ламанча.
И спешит за господином неизменно верный Санчо.
Славный Рыцарь свою клячу острой шпорой понуждает:
Он уверен — злой волшебник Дульцинеей помывает.
Околдованная Дама обратилась в поселянку,
И простою девкой стала благороднейшая дама.
Спит с погонщиками мулов и не видит в этом срама
Благороднейшая Дама...*
Губернатором назначить Санчо Рыцарь обещал.
Уж себя персоной важной Санчо Панса представлял.
И не знает глупый Санчо, ах, насмешица судьба!
«Острова» — лишь часть предместий, где ютится гольтьба.
Чудаки во тьме плутают. Как с дороги тут не сбиться?!
А с тобосской Дульцинеей постоялец веселится.
Он в фривольных пантомимах Дульцинее показал,
Как лошадку с диким нравом кабальеро усмирят.
Распалилась Дульцинея, просто удержу не знает,
После каждой новой скачки полдублона получает.
И хохочет Дульцинея: ей врата отверзлись рая,
А в ночи спешит гидальго, Росинанта понукая.
Но рассвет — и гаснут звезды, затихает звон гитар.
И к утру почти стихает опаливший ночью жар...
В тишине стерильной стынет белизна —
Надо мной склонилась девчонка-медсестра.
Две ее ладошки льдинками легли
(И опять в тумане я вижу корабли),
На лице веснушки, синева у глаз.
Я дарю фату ей и Шопена вальс.
Улетели птицами легких две руки.
На рассвете зыбки и прозрачны сны:
*«Из Прованса, из Прованса
Тридцать рыцарей отважных собирались в путь.
И шумит толпа народа — слезы, крики восхищенья —
Просто жуть! Просто жуть!»*
Но едва о прованских рыцарях на бумагу лег первый стих,
Как в бездонном провале Вселенной звездный ветер затих.
И вдруг стало, как в храме на Пасху, светло —
Висит Арлекин распятый, и глумится над ним Пьеро;
«Посмотри на себя, Арлекиша: морда бита, рассечена бровь.
Ловко вздули тебя за песенки про какую-то там любовь».
Лад балладный игрив и назойлив, и хохочет Пьеро от души:
«Арлекиша, смотри, крестonosцы самозвано в поэму пришли.
А сейчас трубадуры появятся, как-никак все поэты,
И под звуки лютни нежнейшей споют кургуазнейшие куплеты».
*Перед тем, как путь-дорогу дальнюю искать,
Каждый рыцарь даму сердца не забыл обнять.*

*Тридцать рыцарей клянутся верность сохранить,
Тридцать пылких дам клянутся верными им быть.
Из Прованса в Палестину долгий путь, тяжкий путь,
Сколько будет дел кровавых, просто жуть, просто жуть!
Дни за днями безвозвратно — как зола в песок.
Восемь лет прошло в страданиях... Вот и вышел срок.
И собрались в путь обратный десять удальцов —
Двадцать пало на чужбине доблестных бойцов.
Те, кто жив, дорогой долгой тянутся домой.
Видят в снах своих тревожных свой Прованс родной.*

*Наконец родные Альпы! Гул колоколов
Славит в битвах уцелевших храбрых удальцов.
По дорогам их встречает радостный народ.
Гимн старинный в честь героев стройный хор поет.*

.....

*Что ж, рыцари отважны. Любой из них — герой,
Но всех заткнул за пояс трактирищик молодой.
Он восемь лет трудился. Он отдыха не знал,
Прелестных дам Прованса ночами утешал.
За восемь лет прошедших он выбился из сил,
Поэтому всех громче в восторге завопил:
«Виват, вернулись рыцари! Им слава и хвала!
А то пришли в упадок трактирные дела.*

.....

*Соберемся-ка лучшие в трактире: сыр и сидр пусть нам подадут!
А веселье наши подруги нам скучать никогда не дадут.
У Жанетты глаза с поволокой, аппетитная грудь бела...
Старый Жак заглянул ей под юбку и в восторге кричит: «О-ля-ля!»
Впрочем, это уже не в сюжете, хоть и жаль: так Жанетта мила,
Но историю крестоносцев позабыли... и все дела.
Будут рыцари с женами маяться, разоренье и старость придут...
А мечту о чаше Грааля за собою в гроб унесут.
И о рыцарях Папа забудет, и идея похода умрет...
Но уже другие безумцы собираются в дальний поход.
Вновь пойдут чудаки донкихоты ради некой идеи в поход —
Их зовут в дальний путь палестины, им труба на рассвете поет.
Вот и мне труба пропела в утреннюю рань,
И возник, как искушенье, град Тьмутаракань!
«Если трубы трубят в Новограде,
То в Путивле под стяги дружины встают,
Если русские кони ржут за Сулою,
Значит, в Киеве звонкую славу поют!»
В Палестины заповедные тяжкий путь, трудный путь,
Сколько будет битв бесславных — просто жуть, просто жуть!
А свирепых сарацинов разве счесть?!
Неизвестна иноверцам рыцарская честь.
От подобных сарацинов пусть вас Бог хранит!
Много павших в палестинах рыцарей лежит.*

*Они бились славно и не год, и не два.
Только рать иноверцев их осилить смогла.*

*Не уменьем взяла, не умом, а числом.
И пылают страницы негасимым огнем.
Пылают страницы и будут пылать,
Пока рыцарей снова не поднимут на рать.*

Опускается ночь над степью — милосердный покров тишины...
Отголоски истории этой еще долго будут слышны.
Звезды меркнут над степью, пахнет степь чабрецом,
Проплывают столетья за морозным окном.
Уплывает в сегодня комнатенка-ладья,
Но упрямо следует курсом адмиральского корабля.
Комнатушка-лодчонка — вот вся твердь храбрца:
Побеленные стены, фото в рамке отца
Да диван раскорякой, книг любимых ряды —
Оппоненты мои — и друзья, и враги.
Еще письменный стол — вот пред кем я в долгу!
Не прославить его я никак не могу.
Но пока в слог высокий старый стол облачу,
Из Марины Цветаевой я ему прошепчу.
Все, что следует, сказано в тех прекрасных стихах,
Вот и я повторяю, словно эхо в горах:
*«Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел...»*
И опять о столе: в сотый раз посмотрю
И в сто первый, наверно, для него повторю:
*«Мой письменный вьючный мул,
Спасибо, что ног не гнул...»*
Ведь за этим столом шла война — не война:
Было «Слово» прочитано все — от «Аз» и до «Я».
В комнатушке-лодчонке, за столом у огня
Битва шла с лжепророком триста сорок два дня.
Степь гудела от конницы, тесно стало в степи,
Билось русское войско у Каялы-реки.
Только вот наважденье! В половецкой степи
Под штандартом Сант-Яго ходко шли корабли.
И все чаще и чаще в эти страдные дни
На приливной волне появлялись они.

И однажды в моей комнатенке вдруг стало
От штандартов и вымпелов сине и ало:
Шла на запад Эскадра, закатное солнце пылало,
Это было великого Дела начало.
И уже Адмирал с борта «Тринидада»
Наблюдал, как в кильватерном строе летела Армада.
Вот «Виктория» — первой, навстречу суровой и славной судьбе.
Старший кормчий Элькано угрюмо стоит на высокой корме,
А по правому борту — матросы: берег родины виден в туманной дали.
Но темнеет все более. К ночи зажгли ходовые огни.

И хоть черные волны сливаются с черной полоской далекой земли.
Все смотрели, смотрели матросы и глаз отвести не могли.
Вспоминали, как в порту Сан-Лукар их жены и дети в молчанье стояли,
Взглядом строй из пяти каравелл в никуда провозжали.
И заметили все, что, пока «Тринидаду» на траверс не лег Гибралтар,
Взор на берег ни разу не бросил синьор Адмирал.
А потом терпким ветром пахнул всем в лицо Океан.
Улыбался чему-то Фернан Магеллан.

Португалец-изменник, герой и фанатик кавалер Сант-Яго и Адмирал
В ранний час последнего утра для любимой стихи сочинял:
*«Корабли стоят на рейде, чинят паруса.
За кормою виден берег, слышны голоса.
Ты волною прошумела: «Я тебя люблю...»
Иногда во снах я вижу тонкий силуэт,
Но в моем суровом мире нет тебя и нет».*
Адмирал погасил светильник, плащ набросил, вышел на ют:
Было слышно, как на Матане барабаны воинственно бьют.

Занималась заря на востоке, наливалась пурпурно-седа.
Гасла в небе чужом и высоком кавалера Сант-Яго звезда.
Знать не мог Магеллан, что остров — последний его приют,
Что сегодня, как солнце погаснет, на Матане его убьют.
Легкий бриз охлаждал приятно. Фиолетовый плащ соскользнул и упал...
Адмирал — на прекрасной латыни Океану и Небу читал:
*«В глаза заглядывает вечность,
И душу леденит созвездий свет.
Дорога бесконечна в бесконечность,
Всевышнего зовем — ответа нет.
И к тайне мы с мольбой протягиваем руки.
Туманным шлейфом тянутся года,
Из хаоса встает и множит муки
Еще одна безвидная звезда».*

Тут скрылось все в белом круженье, и словно бы хрустнул лед,
И слышно сквозь сон, как будто летит над тайгой самолет.
Поют в унисон турбины баюкающие напевы,
И мысль сквозь туман прорастает и мечется белкой по древу:
Привиделся в снежном тумане какой-то лес Берендеев.
Подобное что-то было... конечно же! Вспомнил, Гордеев.
Мне художник Гордеев рассказывал о знакомой нашей одной,
Когда коньяк недопитый нашли мы в его мастерской.
Подняли рюмки за встречу, за товарищей и друзей.
И среди прочего разного — почему-то о ней:
О муже, что физик от Бога, а она просто так — жена,
Но для него Афродита, что из пены морской рождена.
Впрочем, физик давно был с чужинкой, попробуй такого понять:
На работе, в служебное время, мадригалы вдруг стал сочинять.
Но к искусствам натурщица МОСХа, Афродита, была глуха.
Даже флирты с богемной публикой для нее так себе, шелуха.
А когда ее мужу открылся мир таинственный музыки слов,

Он попал для нее в категорию шизофреников и муд...в.
Он писал ей стихи летучие, как Винсента Ван Гога мазки,
Но они у нее вызывали только приступы злобной тоски.
Он читал ей стихи звонко-звучные, как собор Нотр-Дам де Пари —
За окном лишь уныло качались электрические фонари.
За окном московская слякоть, мокрый снег, белесая мгла,
А в квартире кружили, как птицы, удивительные слова:
Что сказать, дела житейские, каждый вправе сочинять,
Но беда поэтов — мания близким опусы читать.
Комедия-трагедия, да где ж ему понять,
Что писания всех графоманов не издать, не издать, не издать!
Наш поэт шлет стихи по редакциям, а ему в сотый раз отказ:
Мол, писать в наше время такое может только чудак с пьяных глаз,
Это только в прошлом читали... Да и Блок все давно написал.
И поэт от досады и злости накропал вот такой мадригал:
*«По редакциям скитался славный рыцарь видом скучный —
Как ему, хоть и бессмертен, заработать хлеб насущный?
Нет, конечно, снял он латы, меч и прочие доспехи,
Скажем честно: за столетья вместо них — одни прорехи.
Не совсем уместны, впрочем, джинсы с курткой из вельвета,
Но художники-поэты и не так еще одеты.*
*Да, случалось, что Гидальго все же кто-то узнавал:
Мол, не с вас ли Савва Бродский Дон Кихота рисовал?
В чудеса никто не верит — с предрассудками расстались —
И на правду Дон Кихота снисходительно смеялись.*
*Все, что пишет он, ни к черту, нет ко времени привязки:
Пишет о любовных муках или рыцарские сказки.*
*Да, редакторы суровы: есть ведь творческие планы!
Вызывают раздраженье Дон Кихоты-графоманы.
Мадригал летит в корзину, а сонеты — просто смех,
Серенады ж в Литгазете — как пародии. Успех!
Ну кому какое дело: кто, кого и как полюбит?
А Сапфо с Петраркой ваши современников поубьют!
Современник прост и скромн, не мудрец и не дурак,
А любовное томление пусть венчает крепкий брак...
Но кричит Гидальго в гневе: «Люди, вас околдовали!
Лишь любовь и состраданье лучших из миров создали!..»*
Остальное — в том же духе, бестолковое и страстное,
Переделать мир стихами — заблуждение прекрасное.
Мы допили коньяк случайный, и Гордеев продолжил рассказ.
За его спиной, на мольберте — ню, все прелести напоказ.
А вокруг картин феерия, буйство красок, фантазии взлет...
Мысль невольно закралась, что Дима — тоже спятивший Дон Кихот.
Ветряные штурмует мельницы, кистью тычет подчас невпопад,
В третьяковках его картины по запасникам не лежат.
Показалось мне, что художник, поэт и гидальго — одно лицо:
Героическое наизнанку, смех сквозь слезы — судьбы кольцо.
Дима мрачно дымил сигаретой и рассказывал не спеша:
То комедией, то трагедией раскрывалась чужая душа.
Физик любит, как и прежде, а она четвертый год
С неким прапорщиком Хреновым в Домодедове живет.

Физик любит, хоть ты тресни, и уже который год
По весне в день первой встречи ей подснежники несет.
А в придачу — драгоценные заграничные духи,
Самиздатовскую книжицу — старомодные стихи:
Физик, вправду, одержимый, перестал в НИИ трудиться:
Ни к чему подобным типам на красавицах жениться!
Дворник он теперь при ЖЭКе, дел с утра невыворот —
Днем копается в архивах, пишет ночи напролет.
И откуда одержимость, когда все вокруг твердят,
Что поэты в наше время о насущном говорят.
Взял бы тему производства: никаких сомнений нет,
Что тогда б открылись двери всех журналов и газет.
А ему на Красной Пресне без Испании — беда,
И плывут арбатским руслом Магеллановы суда,
И шумит прибой в тумане, и, конечно, неспроста
На полнеба вдруг ложится тень созвездия Креста.
Ест ли, пьет ли — сам не знает, только кругом голова:
Встали в розовом тумане пред Армадой Острова...
Строчки нижутся в поэму. В предвкушение торжества
За окном лежит ночная многоверстная Москва.
Две строфы — жене с надеждой, был поэт навеселе,
А еще, с досады, видно, — злую притчу о Козле.
В ней себя поэт представил романтическим Козлом,
А счастливого соперника — жизнерадостным Ослом.
Аллегория и пасквиль, саркастический посыл,
Разревелась от досады: удержаться нету сил!
Только что теперь исправить, ведь пошел четвертый год,
Как она в угаре пьяном с Ваней Хреновым живет.

.....

Над землей рассвет прозрачный, все желтей от лампы свет.
Задремал от дум уставший незадачливый поэт.
Эрато с Эвтерпою тихо сон пугливый стерегут.
Высоко в бездонной сини флейты нежные поют.
И пригрезились поэту гибкий стан, прохлада рук...
Ненаписанные строфы в сновидениях плывут:

*«Сиянье этих глаз, рисунок нежных губ
И линия бедра... Разлет прекрасных рук.
Божественный проект! Пою Бессмертным гимн:
Все воплотилось зримо по замыслам моим.
Касаюсь пальцев тонких, лукавый взгляд ловлю.
Обряд творю языческий. Судьбу благодарю.
Пусть встреча на исходе дарована была,
Пускай по глади синей, как лодка, уплыла.
Пускай в холодной дали стремителен полет
И силу притяженья любовь не разорвет,
Пускай в моих химерах заведомый просчет.
Что истинно, что ложно? — Никто не разберет.
Путь жизни неизведан, как в Дантовом лесу.
Я Тайну сокровенную с собою унесу...»*

Ненаписанные строки проплывают в грезах сна...
За окном шумит чуть слышно многоликая Москва...
Плавно так Земля вращается, ось земная чуть качается,
Что ж, на свете все кончается. Быль как небыль забывается...
Спит поэт. В прохладе утра растворился навсегда
Эфемерный смысл созвучий: «Путеводная звезда».
За окном рассвет прозрачный. Бравый прапор спит.
Трофеем ценным на плече красавица лежит.
Ваня Хренов парень ушлый, зверь-мужик, герой!
Ей же, просто наважденье, снится тот — другой.
И забытый голос слышит, и стихи его,
Ненавистные ей прежде, снятся. Отчего?..
День за днем, все как обычно — будней череда.
Вызревала незаметно черная беда.
Вдруг узнала вся Москва неудачника поэта.
Слава звонкая пришла — напечатали в газетах.
А затем и две книжонки. В Коктебель попал весной
И впервые на свиданье не явился — был хмельной.
Не принес он ей подснежники и забыл купить духи:
Показалось, что свободен: ни к чему теперь стихи...
Только вдруг — письмо. Нежданное. Писем прежде не писал.
Да попало в руки к Хренову — тот от скуки прочитал.
*«...помнишь: зал, и звучит менуэт,
И скрипит под ногами старинный паркет,
И горят, догорают в ночи
Наши жизни — две тонких свечи?..»*
(Кстати, бамовский метростроенец обозвал их — «клубничный кисель!»)
Лучше б ты описал поэтически, как вонзается в скалы тоннель,
Как стальные рельсы нижутся, ноги-ЛЭПы идут сквозь тайгу,
Как работают сварщики в стужу, переждав чуть метель и пургу».
Ну а месяц спустя тоннельщикам я читал «Транссибирскую № 2» —
Повариха Зина-Зинуля мне охапку цветов нарвала.
И зоил мой, москвич метростроевский, сколок мрамора передал:
«Ты бы нам стихи свои старые вечерком для души почитал».)
Мы поэта не осудим: ведь который уже год
Как Лаура с Краснопресненской с Ваней Хреновым живет.

...до сих пор никому непонятно: счеты с жизнью иль случай такой?
На Памире он в пропасть сорвался, когда шли к перевалу тропой.
Что ж, гадать можно так и этак... но всю жизнь теперь, как клеймо,
Прожигать ее сердце будет неполученное письмо.
Ей как бывшей жене поэта, среди дел и слов шелухи,
Как последний привет с Памира, были переданы стихи:
*«В фиолетовых этих скалах,
В холодном пылании льда,
В темноте бездонных ущелий
Застыла любовь как вода.
Красный камень у перевала
Боль мою, как огонь, вобрал,
Ветер — горной страны владыка —
Душу запахом трав напитал...»*

А потом даже умные дяди спорили: мол, писал он стихи — не стихи?
Что-то этакое в стиле ретро или так себе: хи-хи-хи?
Впрочем, издано было немного: по журналам стихов двадцать пять
И три тощенькие книжонки — хоть разбейся, теперь не сыскать.
Из написанного немало растеклось по чужим рукам,
И еще по районным газеткам разослал, когда ездил на БАМ.
Не успел он издать три поэмы: «Арлекин на кресте», «Транссибирская-два»,
И еще с названием странным — «Магеллановы облака»,
Где истории о Магеллане (адмирал, да еще — поэт)
И рассказы о Дон Кихоте вплетены в современный сюжет.
Но обида — всегда обида. К справедливости тут глухи.
Вот послушай, какие злые он прислал мне с Памира стихи:

*«На поверхности планеты
Где вы встретите Джульетту?
Сочинили миф поэты,
Разнесли его по свету!
Повторяют Дульцинею
Беатричи и Лауры,
Веселятся Купидоны —
Развлекаются Амуры...»*

В дверь звонок: пришли друзья. С Юлькой Кимом, сели, тихи.
Еще раз помянули поэта и читали его стихи:

*«Рыцарь славный из Ламанчи
Встретил в хлеве Дульцинею:
«Перед вашей красотой
Я, червяк, благоговею!
Как хотел бы я, синьора,
Вам в глаза смотреть, вздыхая.
В ваших ручках — мое счастье,
В ваших ручках — ключ от рая!»
«Ах, синьор, — та отвечала,
— Столковаться нам несложно:
Нынче сплю я с Доном Педро,
Ну а завтра с вами можно.
Право, это так несложно
Вам любовь свою продать.
Не угодно ли сегодня
Мне дублон в задаток дать?»
«О, нежнейшая синьора,
Вас прошу моей быть Дамой.
Ради вас иду на подвиг,
И вернусь я к вам со славой!
К черту разных Донов Педро —
Вам дана судьба иная!
Быть моей вас умоляю!!
В ваших ручках — ключ от рая!!!»
Но хохочет Дульцинея:
«По себе рублю я сук,
Хоть и сладки ваши речи,
Да болтать мне недосуг.
Я ведь женщица простая,*

*Вы же с придурью немного.
За дублон пушу вас на ночь.
Утром — скатертью дорога».
Спал ли рыцарь с Дульцинеей,
Кто об этом как узнает?
Спорьте страстно, если кто-то
Вам с апломбом заявляет,
Что с гидальго Дульцинея
Страсти нежной предавалась,
И при этом ни дублона
Резвой девке не досталось.
Но в романе Сааведра
О подобном нет намека.
Видно, кто-то очень хочет
Опорочить Дон Кихота».*

После этих стихов задорных панихидный исчез настрой.
И уже для затравки, наверное, анекдот был рассказан смешной.
Ким настроить успел гитару:
В песне пелось, как гезы в кабаке пировали,
А фламандские девки, юбки сбросив, нагие,
Приставали настырно. Ну а гезы хмельные
Знали: здесь западня,
Значит, надо дожидаться утра нового дня.
Ночью всюду дозоры, на дорогах засады,
А за голову геза сто дублонов награда.
Пахло потом и пивом. Смердный чад от свечей.
Ну а девки вопили, словно свора чертей:
«Время бить посуду, время пить до дна.
Все равно с кем буду — лишь бы не одна!
Не горюй, не думай о судьбе своей,
Пой, пока поется. Пока пьется, пей».

Подождите, непонятно: как же так могло случиться,
Что гидальго из Ламанчи прежде страстно не влюбился?
Коли в пятьдесят — отважен, в тридцать бравым был мужчиной.
Как остался без подруги? Что же быть могло причиной?
Неужели без изъяна синьорины иль синьоры
Не нашел гидальго славный от Севильи до Кордовы?
Кто не знает — страсть испанки что любовная коррида:
Жгучий яд по жилам бродит от Севильи до Мадрида.
Не поверю, что гидальго женских чар не замечал.
Так чего же, непонятно, Дон Кихот еще искал??
И нашел ведь в Дульцинее не что, что другим не видно,
А она — с обычной меркой, и ошиблась — как обидно!
Он о ней мечтал так долго, для нее он в путь собрался.
Над своим героем, значит, Сааведра не смеялся?!
Ну а если б страстью пылкой отвечала Дульцинея —
Одолел бы славный рыцарь козни Мерлина-злодея?!
Ведь молва о Дон Кихоте донесла чудес немало.
Сколько рыцарей-безумцев от него берет начало.
И Роланд писал сонеты, Дон Кихота прославляя,

И вздыхала Ориана, Дульцинеей стать мечтая.
Ей завидовать могли бы Беатриче и Лаура:
Здесь трагедия, синьоры, а не шуточки Амура!
Шляпы снять прошу, синьоры! Опуститься на колено!
Имя девки из Тобоса будь всегда благословенно!

На излете уже событий неровны и зыбки стихи,
Как будто пробуют голос предрассветные петухи.
И не делится час на минуты: только дни — одна мера тут.
Уж последнюю ночь по этапу торопливые стрелки ведут...
И опять незвано являлся судовой капеллан,
И стучали слова в перепонки, как в набат барабан.
Вновь кренились мачты, вновь ревел Океан.
Черным шмайсера глазом на меня смотрел капеллан.
Как тот немец скалился нагло: «Zu Ende! Verflucht! Dichtung kaput!»
На заклатие всех Дон Кихотов рано утречком поведут.
И казалось уже, что точка, и казалось уже — конец,
И казалось, сейчас поэму, обжигая, хлестнет свинец,
И обуглятся строчки поэмы... (Ах, как рукописи горят!
И печально потом над пеплом музыки плакальщицами стоят.)
Объявился Пьеро глумливый и сочувственно так кивал:
«Ах-ах-ах! Я это предвидел, я исход заранее знал!
Ах-ах-ах! Публичная исповедь ведь сама по себе — скандал,
Ну а Автор и чувство меры, к сожалению, потерял.
От обилия книжных героев — настоящий еврейский кагал:
Дон Кихот, Валентин, некий Хренов, Безымянный поэт, Адмирал...
Как медуза, аморфна поэма, план нечеткий и много воды,
А история адюльтера — всмятку стертые сапоги.
Ах, как жалко! Как жалко поэму! В ней забавные были места,
И баллада о крестоносцах, между прочим, будто с холста.
А Христовы воины, помнится, палестинцев ограбив, вернулись домой.
В их отсутствие к женам повадился провансалец один молодой.

Намечался подтекст какой-то, и идея как будто была.
Хотя, может, и эта история на отважных парней — хула».
Может, этот Пьеро-кривляка в чем-то прав? Он ведь явно непрост:
Возникает со всей откровенностью вечный гамлетовский вопрос.
И уже с беспокойством смотрели (кто я — школьник, забывший урок?)
Те, кто верной опорой мне были: Маяковский, Булгаков и Блок.
И один лишь Мигель де Сервантес улыбнулся и ус подкрутил:
«Да ведь Автор пока от идеи ни на йоту не отступил.
Тривиальные сценки — для камуфляжа, явно здесь таится расчет,
И, конечно же, неслучаен многострадальный мой Дон Кихот.
И позвольте напомнить: «Виктория» где-то парус сквозь бури несет,
А еще Магелланова тема своего завершения ждет».
И вот снова в рассветном небе серебристые крылья врзлет.
Все как должно! Сейчас по графику на снижение пойдет самолет.
Ритуал развернется обычный: пассажиры ремни пристегнут.
С облегчением стюардесса сообщит, что закончен маршрут,
Самолет совершает посадку, на термометре — минус пять,
Не ходить, пока лайнер в движении, трап придется чуть-чуть подождать.

Все, как водится, — чин по чину, должный сервис и должный уют,
Серафимы благостно хором в небесах очень мило поют.
И взывает и манит рефрен: «Wie einst Lilli Marlen».
А утро такое ясное над взлетным полем встает!
Вот к обманному счастью и доставил тебя самолет.
А где-то в другом пространстве двадцать проклятых дней
Рушится мир в погребальном убранстве, ломаются мачты моих кораблей!
И там, где земля кончается, где разлита небесная синь,
На черном кресте качается распятый тобой Арлекин.
И плывут, плывут по волнам снасти, доски, обломки рей —
Это все, что осталось от моих Магеллановых кораблей.
Лишь одна каравелла еще парус несет:
Ей идти вновь на запад до «ревущих» широт.
Вновь пустыней безбрежной перед ней Океан.
И летел, догонял каравеллу черным призраком Ураган...

Час больших испытаний для Элькано настал.
«Зреет бунт, Себастьян!» доносил кок-фискал.
Капитан Себастьян Элькано вызов бросил судьбе:
Дерзко вышел один к возбужденной толпе.
Вышел он без оружия, едва зазвучала труба,
Будто вызов-перчатку Элькано бросала судьба.
Тренькал жалобно колокол (уж угрозой звучат голоса),
Но на Запад, упрямо на Запад свежий ветер несли паруса.
На секунду Элькано почувствовал страх:
Бунт бродил, как вино в перегретых мехах.
Знал Элькано: матросы звереют от поноса, чесотки, цинги,
И нагие красотки до отказа заполнили сны:
Извиваются в танце бесстыдном нагие тела —
И Эдемом казались теперь Острова,
И считали безумством: опять — в Океан?!
Непреклонен Элькано, да еще капеллан.
Тех красоток туземных вон прогнал капеллан,
Перед тем как уйти кораблям в Океан.
Если порох сухой, искра только нужна.
Зыркнул кок воровато: не сбежать ли? Ведь будет резня!
И никто не заметил, никто не видал,
Как на борт по шторм-трапу взошел Адмирал.
Свыше сотни матросов, среди них капеллан,
Но незримо прошел сквозь толпу Магеллан.
Адмирал сбросил плащ и под тентами сел.
На толпу и Элькано устало глядел.
Знал и помнил, конечно, синьор Адмирал,
Как его, Адмирала, Элькано предал:
«Сочинил, мол, пролив во Второй Океан!
Самого короля обманул Магеллан!
Где пролив? Нет его! И не может ведь быть!
Португалец-предатель вздумал нас погубить.
Начались наши беды в заливе проклятом Сан-Хулиан,
Где мятеж подавил Адмирал Магеллан.
Там синьору Гаспару Кассанде смертный вынесен был приговор.

Вот и платим мы дьяволу дань с этих пор:
С «Тринидадом» расстались, там по киллю открылась течь;
«Концепсион» обветшал — и пришлось его сжечь;
«Сант-Яго» еще до Пролива об острые скалы разбит,
А синьор Магеллан на Матане в сраженье убит.
Тухнет мясо без соли, в бочках старых гнилая вода,
На «Виктории» снова — понос и цинга...
Курс на запад — вперед! Это нам завещал Адмирал,
Или ставить корабль на последний причал?»
Все угрюмо молчали, первым плотник сказал:
«Если б с нами, как прежде, был синьор Адмирал...»
«Если б был бы, — ему возразил капеллан, —
Да ведь пал на Матане Фернан Магеллан».
«Три туземных стрелы, а одна под кирасу в живот.
Адмирал свое отобедал», — уточнил старый кок-идиот.
Только плотника кок с важной мысли не сбил:
«Адмиралу я верил, хоть не очень любил.
Верил в дьявольский этот Пролив, во Второй Океан,
Верил в то, что найдет острова Магеллан.
Но смешала все карты слепая судьба,
Нам домой по волнам уж не плыть никогда!
Два по курсу лежат Океана, два осталось у нас за кормой —
Бесконечностью стала дорога домой,
Каждый день в Океан мы бросаем своих мертвецов,
И плывем и плывем на запад с упрямством кастильских ослов.
Разрази меня гром, но я в толк не возьму,
Для чего и куда я с Элькано плыву?!»
Вторя плотнику, мерно шумел Океан.
И недвижим и строг был синьор Магеллан.
Словно души усопших, летели спеша облака,
И угрюмо и мрачно вздыхала толпа.
Монотонно и глухо шумел Океан,
И под шум океана вдруг сказал капеллан:
«То, что плотник трусливый малый, к гадалкам не надо ходить.
Он готов при любой передрыге с перепугу в штаны наложить.
Пораскните мозгами, бродяги, что нам этот дурак наболтал:
Будто он языком своим длинным грязь портовых дорог подметал.
Ну-ка, вспомните «Сан-Антонио»! И Элькано, и плотник забыли о том,
Как предателей «мудрость» трусливая обернулась нам долгим постом!
Как Элькано забывчив! Реквием у него лишь по трем кораблям!
Пять! Вы слышите, пять! Отправилось к Неизведанным Островам!
Ненароком забыт «Сан-Антонио» (Он, еще не достигнув Пролива, удрал.)
И его, рискуя Армадой, трое суток прождал Адмирал...
Проклинаю я всех дезертиров! Всех, кого напугал Океан,
Кто герой лишь в портовом трактире, наполняя малагой стакан.
Подождите! Заткнитесь, подонки! Я вам главного не сказал:
Почему же был мною проклят несгибаемый Адмирал?
Я любил, как никто, Магеллана, и я верил в него всегда,
Но всех раньше сумел догадаться, что готовила нам судьба.
Во имя высокой цели Адмирал был на все готов.
Это я угадал. И было мне жалко вас, обманутых дураков.

Вас, кто плыл, соблазненный богатством, а какая цена — не знал...
Нет! Меня понимал с полуслова пронизательный Адмирал.
Магеллан — это гений Испании! Не Элькано, не мне чета —
Его гордое имя в истории будет вписано на лета.
Мы за дело его в ответе! Наши мертвые нам не простят,
Если мы с полпути отступим, повернув каравеллу назад.
Мы домой доплывем, бродяги, чтоб бессмертье обрел Магеллан.
В этом вам клянется, подонки, перед Богом ваш капеллан.
На колени станем, испанцы, — крест поднял сквернослов-капеллан, —
Мы клянемся тебе на верность, несгибаемый Магеллан!»
Молились матросы, вновь шумел Океан,
Но звуком иным внимал Магеллан.
Услышал сквозь посвист в снастях Адмирал,
Как голос забытый печально шептал:
*«Стань, милый, лунным светом,
Парчовые шторы я подниму.
Тяжелые створы высоких окон
В спальне своей распахну.
Стань, милый, дождиком ласковым,
Слезы омой с моего лица.
В разлуке три долгих года
Бились наши сердца.
Хочешь, я сброшу мантилью.
Плечи и грудь обнажу?
С молитвой три долгих года
Я имя твоё твержу...»*
А в полночь с «Викторией» рядом возникла Армада.
Все пять кораблей вел штандарт «Тринидада».
Как будто великий безумец устроил последний парад:
На Запад сквозь шторм парус нес «Тринидад».
Вечную память пел тебе, адмирал, до утра Океан.
Продолжался легендой Фернан Магеллан.

Окончанье полета — авиадефиле:
Трап, как плаха, вознесся на стылой земле.
Приглашенье на казнь? Искушенье судьбы?
Двери к трапу открыты. Сохрани, сбереги!
Подожди же! Помедли у трапа. Видишь, алым обрызгана синь:
На пылающем облаке корчится издыхающий Арлекин...
Все еще на бетонном поле «Ил», как хищная птица, крылья вразлет,
Спецавтобус аэропорта катафалком нарядным плывет.
Затухают прощальные звуки, в общем, кончился карнавал.
Наконец-то последним аккордом завершает поэму финал!

*Хабаровск — Москва — Хабаровск
4 января 1983 г. — 14 октября 1983 г.
4 января 1986 г. — 23 февраля 1987 г.
5 сентября 1988 г. — 18 октября 1988 г.*

